

INTERVIEW/ИНТЕРВЬЮ

JOHN GLAD (Washington, DC, USA) and
BORIS KHAZANOV (Munich, Germany)

INTERVIEW

The following is an excerpt from an exchange of views on writing in exile, which will be brought out in Moscow by Zakharov Publishers. The title of the work is *Донпос с нристрасбием*, and the text takes the form of a jocular debunking of literature in exile.

Boris Khazanov (Gennady Moiseevich Faibusovich) was arrested in 1949, while a student at Moscow University. Found guilty under Article 58/10 ("anti-Soviet propaganda"), he was sentenced to eight years and imprisoned in the Unzha Forced Labor Camp. In 1955, he was released but denied the right to live in major cities. He enrolled in the Kalinin Medical School and later worked as a district physician. From 1974 until 1981, he was an editor for the magazine *Chemistry and Life* and translated philosophical and literary works, all the while clandestinely composing fiction and distributing a *samizdat* journal. In August of 1982, he emigrated to Germany and settled in Munich, where he worked as the co-editor of the journal *Страна и мир* from 1984 until 1992. Khazanov has published novels *Хроника Н*, *После нас потом*, *Далёкое зрелище лесов*, and a prose collection *Город и Сны*. He has also written philosophical essays, short stories and novellas. Since 1988, he is published in Russia.

John Glad received his Ph.D in 1970 in Slavic Languages and Literatures from New York University. He has taught at the University of Georgia, Rutgers University, The University of Chicago, The University of Iowa, and The University of Maryland, and directed the Kennan Institute for Advanced Russian Studies. In 1980, his edition and translation of Varlam Shalamov's *Kolyma Tales* was judged one of the five best translations of the year in the American Book Awards. In 1985 he was the chief translator of Lyudmila Alexeyeva's *Soviet Dissident Movements*. In 1990 Glad edited *Literature in Exile* (Duke University Press), devoted to writers driven from countries all over the world, followed up in 1991 with *Беседы в изгании* (Книжная палата publisher in Moscow), consisting of interviews with exiled Russian writers. In 1993 Duke University Press published an abbreviated version in

English. In 1999 Hermitage Publisher brought out Glad's monograph *Russia Abroad: Writers, History, Politics*.

Джон ГЛЭД, Борис ХАЗАНОВ. Из бесед

ДГ. Читаю *Встречи и размышления* Фёдора Степуна: . . . *Большинство (зарубежных) писателей "зовёт" не память, а воспоминания, всегда свои, всегда очень личные, каждому милые, но болезненные и больные. Отсюда нервность, сентиментальность, развинченность и взвинченность многих эмигрантских произведений, их белоствольные берёзки, кустарные петушки и росяные слёзы.*

Если верить Степуно, личное наивно, в то время как общее, объединяющее рождает зрелое искусство. Тут есть ещё одно утверждение – что большинство пишущих эмигрантов предпочитает первое.

Представитель Первой волны вторит музыке "парижской ноты": надо, дескать, стремиться к общему и обобщающему, говорить не "галка", а "птица" и т.п. Об этом, кстати, рассуждал Игорь Чиннов в моём с ним интервью (*Беседы в изгнании*): *Идея этой "парижской ноты" состояла в простоте, в очень ограниченном словаре, который был сведён к главным словам, самым главным, незаменимым . . . хотели общего в ущерб частному.*

БХ. Я был знаком с покойным Гансом-Эгоном Хольтузенем, известным немецким поэтом и литературным критиком, бывшим президентом Баварской академии изящных искусств, и однажды посетил его (вместе с Юрием Шлиппе-Мельниковым) в его квартире на Агнесштрассе; вы, конечно, знаете Швабинг. Хольтузен рассказывал о Фёдоре Августовиче Степуне, с которым дружил; позже я поместил его рассказ в нашем журнале *Страна и мир*. Между прочим, он вспомнил вечер на именинах Степуна в Мюнхене, в 54 году, отмечалось 70-летие хозяина. Жена Степуна Наташа выставила роскошное угощение; само собой, не была забыта и русская водка, собралась тьма народу. *Степун был великолепен, весел, расхаживал среди гостей. Вдруг какой-то старик, сидевший молча в углу, встал и попросил слова. Он говорил десять минут, по-французски, и закончил свой спич в честь именинника словами: "Vive la Russie!" – так, знаете, по-славянски, с длинным раскатистым "р". Я спросил у соседа: кто это? "Керенский", – сказал он.*

Вечером 23 февраля 1965 г. – Степуно только что исполнился 81 год – он делал доклад в Академии, вместе с Хольтузенем возвращался домой (оба жили близко друг от друга, Степун – на Айнмиллерштрассе), был возбуждён, разглагольствовал о чём-то. Когда машина остановилась перед домом, Степун с трудом вылез, – он был тучный человек плеторического вида, с крупными чертами лица, с большой головой и

развевающимися белыми волосами, — и упал, не успев войти в подъезд. Через несколько минут он умер.

Шумный, многоречивый, размахивающий руками, бесконечно обаятельный. Homme de fortune, человек удачи, — хоть и эмигрант. И умер счастливой смертью.

Хольтузен, кстати, сам был очень похож на него.

Видите ли, у всех у нас была общая родина — старая христианская Европа. Духовная родина, где ты вырос, куда можно съездить на время, — в конце концов, можно совершить путешествие в прошлое, как путешествуют в дальние страны. Но жить в этой Европе больше невозможно — по той простой причине, что её больше нет.

Я отвлёкся. Похоже, что за минувшие десятилетия собственно философское творчество Степуна отступило в тень, как и книги вроде написанной по-немецки *Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der Revolution* (Лик России и лицо революции), — но тем очевидней стало, какой это был замечательный писатель. К сожалению, я не читал *Николая Переслегина*, его единственный роман. Зато не устаю наслаждаться его мемуарами.

Вы цитируете статью о Бунине. Продолжим цитату.

Есть люди (Степун говорит, очевидно, и о писателях, и о читателях в эмиграции), которых бунинское изображение дореволюционной России, изображение, в котором ничто не трепещет, не рыдает и не надрыгается, — оставляет холодными и неудовлетворёнными, им более близки другие писатели, которые не служат, подобно Бунину, строгой панихиды по дорогой их сердцу России, а просто по человечеству воют и убиваются по ней. Предпочтение это вполне понятно: проникновение в Бунина требует духовности и обострённого художественного зрения, а не только искренней душевности и повышенной нервности, которых в мире гораздо больше, чем духа и дара.

Антитеза, собственно, общелитературная, но эмигрантская литература даёт для неё образцовый пример. Бунин был учеником и наследником классического объективного реализма XIX столетия, который, как светский кодекс, воспрещал писателю показывать свои чувства, вообще не разрешал ему обнаруживать себя в собственном произведении, флореровского реализма, и его правила действенны до сих пор. Столь поощряемые критиками у советских писателей слюнвявые объяснения в любви к героям романа (образцом была *Поднятая целина* Шолохова) и так называемые публицистические отступления, долженствующие засвидетельствовать благонамеренность автора, — не то же ли это, в конце концов, о чём толкует Степун.

Нечего и говорить о том, что дух и дар, а не повышенная душевность, обещают литературе долголетие. Тот же Бунин, спустившись — по како-

му-то, должно быть, скоростному лифту – из башни слоновой кости, написал *Окаянные дни*, которые невозможно читать; русская эмиграция, объявившая устами Нины Берберовой, что она состоит в послании, другими словами, предназначена хранить и продолжать русскую культуру, в сущности, не оправдала – в лице большинства своих представителей – это предназначение. Так мы возвращаемся к эмигрантской словесности.

Все литературные эмиграции, о которых мы говорим: французская роялистская эмиграция времён Великой революции, когда, собственно, и вошли в обиход в их современном значении эти слова: *réfugié, émigré*; писатели, бежавшие из Германии после событий 1933 года; русский послереволюционный исход – все они были политическими эмиграциями, их непосредственная причина – крушение старого режима и воцарение нового. Третья российская волна представляла собой жест коллективного протеста против советского строя и оказалась чуть ли не самой политизированной. *Послание* принимает вполне определённый уклон: поведать миру о том, что произошло на родине, дать волю гневу, горечи, отчаянию, негодованию, рассчитаться с человекоядным режимом. Литература, сказал один француз (Арман Лану), это сведение счётов.

Что и стало уделом средних писателей. Правда, в своё время – ещё совсем недавно – они отнюдь не казались средними, некоторые были знамениты во всём мире. Каким счастьем, каким наслаждением было рассчитаться со сволочью на бывшей родине! И какой же порядочный человек поставит под сомнение необходимость сопротивления и борьбы. Некоторые сумели нанести диктатору и режиму весьма чувствительный удар. Когда вышел в свет *Успех* Фейхтвангера, читатели взглянули другими глазами на германского фюрера: он стал Рупертом Куцнером. Правда, книга была написана за три года до нацистской *Machtergreifung*, но прочитана как следует после переворота, когда многих поразила проницательность автора; так что мы можем смело отнести роман к литературе эмиграции. Даже более слабые, написанные уже в изгнании вещи, такие, как *Семья Опперман* или *Братья Лаутензак*, пользовались огромным успехом.

Когда сейчас, по сравнительно свежим следам, мы перебираем известные нам имена и произведения российской Третьей волны, то хорошо видим, что искушение дать волю политическому гневу – искушение, понимаемое как долг, как необходимость заставить наивный “Запад” протереть глаза, – увлекло, чтобы не сказать поработило, множество пишущих. Вот вам разница между отношением к литературе современников – чьи эмоции оказываются недолговечными – и взглядом из будущего. Мы имеем дело с одной из внутренних коллизий эмигрантской литературы. Свобода, и прежде всего свобода творчества, во имя кото-

рой отряхнули от подошв пыль отечества, оборачивается, сознают это или нет, новой разновидностью несвободы.

* * *

ДГ. Теперь, оглядываясь на советские времена, можете ли вы сказать, что жизнь на Западе помогла вам лучше понять вашу бывшую родину? Или армия самозванных пророков была права и Запад ничего не прибавляет к этому пониманию? А может, всё-таки со стороны многое виднее, и не только в отношении России?

БХ. Помогает ли знакомство с западной жизнью лучше понять покинутую родину, помогло ли оно мне?

На первых порах именно так мне и казалось. Дистанция сама по себе сулит немалые преимущества – по крайней мере для писателя. Гоголю, чтобы написать *Мёртвые души*, понадобилось уехать в Италию. Восхитительная XX глава *Дворянского гнезда*, написанная так, словно сам романист летним утром в русской деревенской глуши вместе с Лаврецким сидит у окна господского дома, слышит, как стучит телега, как скрипят ворота, следит за полётом ласточек, – глава эта была привезена Тургеневым из Парижа. Издалека, из прекрасного далёка, *виднее*.

Увидев жизнь, столь отличную от нашей бывшей жизни, я стал иначе смотреть на страну, откуда приехал, она предстала мне призрачной, страшной, в высшей степени своеобразной и по своему чарующей, осветилась каким-то новым светом. Я увидел её на расстоянии всю целиком и в сужающейся перспективе времени. Это были, между прочим (я говорю о последних временах моей жизни там), годы довольно интенсивного умственного движения под спудом, время нескончаемых споров неославянофилов с либералами-западниками. И я подумал, что эти наследники друзей-врагов прошлого века, о которых Герцен говорил, что они, как два лица Януса, смотрели в разные стороны, между тем как сердце билось одно, – я подумал, что они были не чем иным, как двумя половинами грезящего мозга России, его левым и правым полушариями. Вы помните теорию функциональной асимметрии полушарий головного мозга: правая гемисфера ответственна за образное мышление, левая заведует логикой и абстракцией, правая аккумулирует опыт прошлого, левая устремлена в будущее. Правая – это славянофилы, левая – западники. Статьи, похожие на рапсодии, которые я тогда сочинял (и печатал в журнале *Merkur*), которые встроились потом в книжку *Миф Россия*, я бы теперь уже не написал.

Потому что время откровений прошло, оставив разве только сознание довольно тривиальной истины: подобно тому как родной язык начинаешь понимать шире и глубже, когда есть возможность сопоставить

его с другими языками, так опыт жизни за границей прибавляет новое понимание жизни на родине, дополнительное измерение, которое неизвестно оставшимся там. И это особенно чувствуется, когда через много лет встречаешься со старыми друзьями. Начинает казаться, что у них, оставшихся, как будто нет одного глаза. В самом деле, к взгляду изнутри прибавляется умение видеть страну извне, со стороны.

Но так видит её посторонний. Становишься посторонним. Меняется вся система акцентов. Незнание множества актуальных обстоятельств, столь важных для граждан страны, усугубляется сознанием, что они не так уж и важны. Отсюда – только один шаг до непонимания сегодняшней жизни России, до утраты того внутреннего, интимного знания, о котором я пытался сказать выше. Люди это, конечно, чувствуют. И, должно быть, думают: “Э, о чём с ним говорить!”

Тут, само собой, встаёт вопрос, как отражается это постепенное отчуждение на творчестве писателя. Особая тема, которая, очевидно, выходит за пределы, заданные вашим вопросом. Поэтому я коснусь её лишь мельком. Один мой старый товарищ, проживающий в Штатах, просил своего приятеля в Москве брать с собой, когда тот отправляется в пивной бар, магнитофон – записывать речения забулдыг, новый язык народа: этот язык уже не тот, который был так хорошо известен уехавшему писателю. Как и он, я по-прежнему пишу главным образом на русские темы, хотя не числю себя актуальным романистом и народным писателем; думаю, что и в России, останься я там и останься я в живых, никогда бы таким писателем не был. Тем не менее мне легко себе представить, что мои сочинения воспринимаются там как нечто не вполне “свое”. Вероятно, это совокупный результат и того, что я живу за границей, и чего-то ещё; но, как сказано, это уже другая опера.

* * *

ДГ. Хотя эмиграция доставила вам относительно комфортабельную жизнь, вы в те времена, можно сказать, пострадали по-настоящему. Как вы относитесь к собратьям по перу, “не предавшим родину-мать” позорным бегством и восхвалявшим по мере сил Минотавра? Не стоит ли взять пример со скитальца Улисса, который выжег глазище циклопу острой дымящейся жердью?

БХ. А сами вы на моём месте схватились бы за жердь? Вот то-то и оно. И ещё одно. . . . Пострадал там кто-то или не пострадали – до конкретных виновников не добраться. А если бы вам и пришлось встретить случайно, допустим, стукача, который вас посадил, – в моём случае это был закадычный друг студенческих лет, по имени Всеволод Колесников, студент Военного института иностранных языков, наш ровесник,

сперва он посадил своего друга детства, а потом меня и моего товарища, – так вот, если бы и встретились, если бы он снизошёл до разговора со мною, то сказал бы, что лично он не виноват, его заставили, и что ничего бы не изменилось, если бы он отказался: нашелся бы кто-нибудь другой, потому что имя им легион, все виноваты более или менее; и вообще тогда были такие законы, у каждого государства свои законы.

В СССР не произошло радикальной смены власти, режим не был свергнут, а рухнул сам собой без посторонней помощи, сгнил и околел, отравив воздух миазмами. Персонал остался на своих местах, живые и здравствующие преступники не были изобличены, не было ни одного процесса; сколько-нибудь последовательного, а уж тем более юридического, расчёта с прошлым не произошло. В этом, возможно, таился корень будущих бед.

Вы говорите о “лояльных писателях”, вольных или невольных пособниках и трубадурах каннибальского режима. Издательство “Просвещение”, Москва, в 1998 году выпустило двухтомный словарь *Русские писатели, XX век* в переплётах с золотым тиснением, там можно найти обширные панегирические статьи, посвящённые Георгию Маркову, Николаю Грибачёву, Анатолию Софронову, Всеволоду Кочетову, Сергею Михалкову, Михаилу Алексееву, Петру Проскурину, Александру Проханову, Ивану Стаднюку, Егору Исаеву и т.п. Это, конечно, самые непристойные имена; и написали о них люди того же сорта. Но как быть с теми или конкретно с тем, кто был *fifty-fifty*, кто отнюдь не был монстром, но выглядел культурным и порядочным человеком, и действительно был порядочным человеком, не был бездарем, не был карьеристом, знал цену режиму, но что делать? – отплясывал с дьяволом, *mitgetanzt*, по выражению Томаса Манна (в известном письме к Вальтеру фон Моло)? В вашей книге *Russia Abroad* вы упомянули Франка Тиса (Frank Thiess, 1890-1977), романиста, ныне уже забытого, который после войны укорял Манна и в его лице немецкую эмиграцию за то, что они бросили родину-мать в беде. Себя он называл внутренними эмигрантом; кажется, ему и принадлежит это выражение. Похожие вещи говорились в СССР в первые годы после крушения режима. Многие думают так и теперь. Конечно, эти упрёки – не что иное, как попытка самооправдания.

Я не могу ответить на ваш вопрос, как я отношусь к этим собратьям по перу; не знаю что ответить. Да они и не собратья мне вовсе. Как отношусь – должно быть, никак. Быть судьёй труднее, чем быть подсудимым. Это уж ваше дело. Тем более, что не осуждены явные, несомненные преступники. Я отнюдь не за то, чтобы подвергнуть этих рогатых чертей уголовному наказанию (какового они, по совести говоря, вполне заслужили). Но надо назвать их по именам. Напомнить им и всем остальным об их выступлениях и об их делах.

Общество, которое не осудило морально своих преступников, никогда не выздоровеет.

* * *

ДГ. Цитирую ваши письма Григорию Померанцу. 2 апреля 1990: *Я окончательно выбился из русской литературы, хоть и пишу на русском языке. 15 апреля (через одиннадцать дней): Парадокс эмиграции состоит в том, что чем больше стараешься быть “душой с вами”, уверять себя и других, что всё моё – там, что я не оторвался, не денационализировался и т.п., тем больше ты эмигрант и отщепенец, тем больше ты ни то ни сё, и в этом смысле я гораздо меньше эмигрант, чем мои товарищи.* 19 февраля 1991: . . . к великому моему сокрушению, приходится признать, что я не русский писатель. Традиционные ценности русской литературы ушли от меня. 28 декабря 1992: *Время от времени мы с женой возвращаемся к разговорам о том, чтобы совершить, наконец, паломничество на родину, но, как я вам уже писал, я не могу понять, хочется ли мне поехать. Это как крепкий напиток: тянет хлебнуть, а вместе с тем боишься, как бы не вырвало.*

БХ. Очевидно, вы ждёте от меня, чтобы я как-нибудь прокомментировал эти высказывания, оправдался бы, что ли, сказал бы, что всё это давно прошедшие времена. Но, хотя мне трудно вспомнить сейчас, в какой связи это говорилось, я не отказываюсь от сказанного. Недавно мне передали разговор с женой одного известного писателя; он покинул Россию двумя годами раньше, чем я, теперь живёт в двух странах и даже проводит в Москве больше времени, чем в Мюнхене. На вопрос, не слишком ли это хлопотно, жена писателя ответила: ради чего же была вся эта эпопея – изгнание, и жизнь на чужбине, и ожидание перемен, – как не ради того, чтобы вернуться?

В самом деле, ради чего? Обыкновенно отвечают на вопрос “почему” (почему NN был вынужден покинуть отечество). Но нужно задуматься и о положительных ценностях эмиграции. Дело не в том, чтобы отсидеться, дожидаться, когда можно будет вернуться.

Кто вернулся, а кто и не вернулся. Одни вернулись, чтобы остаться, другие – чтобы больше не приезжать. Венский и берлинский театальный критик и эссеист Альфред Польгар, в сороковом году бежавший в Америку, сказал однажды: “Чужбина не стала родиной, зато родина – чужбиной” (*Die Fremde ist nicht Heimat geworden. Aber die Heimat Fremde*).

Встаёт вопрос, наворачивается, как слеза, еретическая мысль, – не есть ли превращение родины в чужбину нечто положительное.

Невозможность вжиться в чужую жизнь (а кто из нас мог бы похвастаться, что он в полном смысле слова ассимилировался в стране, приютившей его?) заставила многих искать для себя оправдания в том, что они остались верны покинутому отечеству, что они только физически здесь, зато душою – “там”. Для многих эмигрантов это стало программой жизни. *Зачем листать чужую грамматику?* – спрашивает Брехт. Я знал таких людей – самое слово “эмигрант” было им ненавистно. Результатом было то, что они почти герметически замыкались в эмигрантском гетто. Другими словами, они-то и были истинными, стопроцентными эмигрантами.

Для писателя, который продолжает писать на родном языке, эта ситуация отзывается некоторой особой остротой – и, пожалуй, особого рода сладостью. Он больше не живёт в актуальном времени, в том времени, в котором живут его соотечественники на родине. Если все ресурсы творчества для него – в этом времени, он оказывается на мели. Изгнание для него – непоправимая беда. Сначала он повторяет то, о чём писал на родине. Потом вовсе замолкает. Но, выбившись из актуального времени, мы продолжаем жить в интимном времени и в историческом времени, над которыми география и полиция не властны. Это и есть цитадель писателя-эмигранта, который расплачивается за неё денационализацией. Так я пытаюсь ответить на не сформулированный вами вопрос.

* * *

БХ. Как теологи исходят в своих рассуждениях из презумпции существования Бога (что не мешало им изобретать специальные доказательства его существования), так мы с вами исходили из молчаливой уверенности в том, что эмигрантская литература существует как самостоятельное явление и отличается от другой, неэмигрантской; эту уверенность, как вы знаете, разделяют не все.

ДГ. Да вы уж лучше за себя говорите.

БХ. Вот как! Сегодня вы одно, а завтра другое. А сами меня всё к стене прижать хотите. . . . Ну ладно, Бог с вами. Меня всё-равно так легко не собьёшь с толку. О чём это я? . . . Да, так вот.

В послевоенных обзорах немецкой литературы существовал раздел “Литература эмиграции”, сейчас, насколько мне известно, её уже не принято выделять. Томас Манн – эмигрантский писатель? Это звучит неловко. Единая литература: одна, а не две. Этот тезис применительно к Третьей русской волне всегда отстаивал – и притом во времена, когда он совсем не казался очевидным, – наш общий друг, профессор Вольфганг Казак. Зато советское официальное литературоведение не хотело и

слышать о единой русской литературе поверх барьеров. Тот же вопрос всплывал так или иначе в ваших “Беседах в изгнании”.

Из всего, что мне приходилось слышать и читать, вырисовывается примерно такая концепция: об экспатриированной литературе можно говорить до тех пор, пока существуют условия, сделавшие необходимой экспатриацию. Эмигрантская литература – это литература политических эмигрантов: более или менее антинацистская, более или менее антисоветская. Литература протеста; протестом она и держится. В остальном это продолжение “нормальной” литературы, следовательно, её часть.

Чья, собственно, часть? Тут остаётся только пожать плечами. Часть немецкой литературы, которую в данный момент представляет литература нацистской Германии; часть русской литературы – в настоящее время советской? На-днях я просматривал VIII том весьма обстоятельной *Краткой еврейской энциклопедии*, выходящей (на русском языке) в Израиле. В статье “Советская литература” перечислены, в числе прочих писателей, “уехавшие”. Уехали – но остались!

Я пытаюсь мысленно подобрать более серьёзные аргументы в пользу единства. Общий язык, общенациональное происхождение пишущих, национальная тематика, зависимость от стилей и направлений отечественной литературы. Наконец, убеждение многих, что они не только не выпали из отечественной словесности, но даже – лучшая её часть. Впрочем, как не заметить, что лозунг “литература поверх границ” (нет никакой особой эмигрантской литературы, есть единая русская литература) в устах литературоведов, как и в устах самих писателей, насквозь полемичен; выдвигаемый в пику политике, он сам по себе является политическим лозунгом: ряды колючей проволоки оберегают советских читателей от литературной продукции эмигрантов, советский официоз замалчивает литературу Зарубежья, в крайнем случае трактует её как литературу отщепенцев, – так нет же.

Между тем, читая писателей первой послереволюционной волны, невозможно не почувствовать, что это какая-то “не такая” русская литература. Просматривая сегодняшние литературные журналы Москвы или Петербурга (тем более – провинциальные журналы), я опять же не могу отделаться от впечатления, что это другой мир и другая литература: во всяком случае, по сравнению с литературой, которую представляю я сам.

Метод, который я мог бы предложить, – это метод, который избирает отправным пунктом судьбу, образ мыслей и психологию писателя. Это в самом деле иная судьба, нежели судьба “оставшихся”. Это постепенно складывающийся, иной, чем у соотечественников, способ мышления. Постепенно и неотвратно меняющаяся психология.

* * *

БХ. Вот над чем стоит подумать: искусство есть путь постижения жизни. Но не такого постижения, которое обыкновенно имели в виду и которое мало чем отличалось от ознакомления с объектом, исследования социальной группы, освоения профессии; речь идёт о самоуглублении, о разведке сознания средствами самого сознания, – главнейшее из этих средств – память. Речь идёт о том, чтобы проникнуть в собственную жизнь не по свежим следам (как это делают авторы интимных дневников или исповедей), а задним числом и, так сказать, издалека. Вот почему автору *Поисков утраченного времени* понадобилось радикально уединиться. Образ жизни Пруста последних тринадцати-пятнадцати лет его жизни – модель внутренней эмиграции. Той эмиграции, которая дала ему возможность создать величайший роман века.

Отсюда один шаг до желания благословить судьбу, которая дала нашему брату возможность уйти в эмиграцию. Мы слышали достаточно lamentаций о горестной судьбе изгнанника; мы и сами порой были не прочь всплакнуть. Но изгнание (я оставляю в стороне Пруста) подвигло Томаса Манна на создание другого великого романа века, романа о Германии. Не оставь Джойс Ирландию, он остался бы автором *Дублинцев*. Изгнание (совсем другой пример) превратило Георгия Иванова, посредственного эпигона, в оригинального поэта. Самые сильные стихи Ходасевича написаны в Берлине и Париже. *Tristia* Овидия – лучшее из всего, что он написал. Данте создал *Комедию* не во Флоренции – не говоря о том, что там его ожидал палач. Самое значительное из созданного лордом Байроном – это тоже плод изгнания. Эмиграция не только спасла Иосифа Бродского физически, но сделала его тем, кем он никогда не стал бы в России. Что-то случилось, деревья перевернулись вверх корнями. Нельзя представить себе ничего лучшего для писателя, чем быть вышвырнутым из своей страны. Если он когда-нибудь вернётся, его не узнают.

* * *

ДГ. Жизнь за границей, безусловно, даёт писателю новые стимулы, и чем больше отличается быт новой страны проживания, тем большим богатством вознаграждён автор-иностранец, – разумеется, в той мере, в какой он вообще занимается новой реальностью. Писатель-реалист отразит своё новое окружение острее, чем фантаст или автор исторических романов, для которого что Париж, что Мадагаскар, что Урюпинск – всё одно. Для таких писателей заграничная жизнь, может быть, даже вред-

на, и они успешней творили бы, запертые на двадцать лет в тюремной камере.

БХ. Жизнь в чужой стране даёт новые стимулы? Пожалуй; но чаще, я думаю, не в том смысле, какой вы имели в виду. Нет, страна проживания обыкновенно не внушает иностранцу желания отразить её быт, – ваша оговорка “в той мере, в какой он вообще. . .” перечёркивает главную мысль. В том-то и дело, что новая действительность не становится материалом для повестей и романов – чаще всего и уж во всяком случае у того, кто прибыл за границу взрослым, сложившимся человеком. Можно сослаться как на образцовый пример на Томаса Манна, который прожил 16 лет в Америке и не написал ни одного произведения об американской жизни, на множество других, наконец, на Горького, который, приехав из эмиграции, увидел новую страну. Новая жизнь захлестнула его небывалыми впечатлениями – тому есть множество доказательств. Он отдал ей дань в весьма посредственной публицистике. Но проза, написанная после возвращения в СССР, была по-прежнему о прошлом – о той, старой России.

Литература опаздывает. Осмелюсь утверждать – литература живёт вчерашним днём. Другое дело, что у этого прошлого может оказаться большое будущее; тогда как настоящее может стать только прошлым. Литература, во всяком случае проза, та проза, которая заслуживает внимания, – является к шапочному разбору; об актуальности тут не может быть и речи. Эмигранту или человеку с похожей судьбой это должно быть понятно лучше, чему кому-либо. Правда, он понимает современность по-своему. “А как же мой роман? . . .” – будто бы сказал Джойс, услышав о начале Мировой войны. Для эмигранта – можно считать это правилом – актуальна всегда и только его страна, причём такая, которую он оставил.

Я говорю, конечно, о крайнем случае. Но крайний случай и есть именно тот случай писательства, который был самым частым уделом у моих соотечественников. Русский писатель за границей – это нечто вроде янки при дворе короля Артура.

Он приезжает, уверенный, что приехал из страны, которая представляет собой центр мира, пуп земли. Он должен о ней рассказать. Заграничная жизнь, чужие проблемы его не интересуют, после первых впечатлений он убеждается, что всё это он знал заранее, и на этом его активное ознакомление с новым миром заканчивается. Языка всё равно не выучишь; да и незачем; Россия – сама целый мир в себе; он русский писатель, он останется в русском мире. Я знал многих, которые так думали, а иногда говорили об этом. Приезжая после перестройки в гости в Россию, они должны были выступать в роли знатоков Запада, который они так и не узнали, и охотно рассуждали об измелечании европейской

или американской культуры, с которой в лучшем случае были знакомы понаслышке. В сущности, они остались такими же провинциалами, какими когда-то уехали. Но их безучастность к богатству, о котором вы говорите, находила высшее оправдание; она была в их глазах добродетелью; не до того им было.

Ну, а ты? – спросите вы, человек, ведущий дознание; не правда ли, вы тотчас заподозрили в этих словах высокомерие писателя, всегда склонного противопоставлять себя остальной братии. Тут надо заметить, что вы, конечно, в некотором общем смысле правы, когда говорите о стимулах. Воздух чужой страны меняет состав крови и у того, кто ощущает его как воздух свободы, и у того, кто старается не замечать, что он дышит другим воздухом. Опыт жизни за границей, самый звук чужестранной речи в воздухе вокруг писателя не могут не прибавить чего-то очень важного к тому, что он сочиняет, даже когда он закован в рачий панцырь эмиграции.

Вы давали мне понять, что считаете меня в некотором роде исключением. Или по крайней мере представителем меньшинства. В юности я мечтал о том, чтобы увидеть мир, вырваться из гигантской клетки. Быть ничьим, не принадлежать ни к какому народу, не шагать ни в каких рядах, не петь в унисон и не сморкаться по команде. Об этой мечте можно сказать, что она и осуществилась, и оказалась недостижимой. Мы не то чтобы “унесли” (как выразился Роман Гуль) наше отечество, – мы приволокли его с собой. К одним это относится в большей, к другим – в меньшей мере. Живя в Германии, я не могу сказать, что отторгнут от этой страны, от Европы, от того, чем дышала, о чём грезила весь свой век русская интеллигенция и что оказалось ей столь чуждым, когда она, наконец, – в лице эмигрантов – прикоснулась к нему. Но, как сказано, литература живёт прошлым, точнее, тем прошлым, которое память преобразует в настоящее, а быть может, и в будущее. Я по-прежнему пишу по-русски и главным образом о России. Вот вам по возможности краткий ответ.

* * *

ДГ. Какие условия можно считать необходимыми или хотя бы желательными для создания литературы в отрыве от родины? Прежде всего нужно, чтобы существовала родина. Космополиту не к лицу хныкать, что его “изгнали”, – он сменил одно случайное местожительство на другое, вот и всё. (Видите, как ловко я вас выкинул не только из рядов изгнанников, но и вообще из эмиграции).

Что ещё? Пожалуй, досуг. Но не доход. Материальное благополучие в виде хорошо оплачиваемой работы может загубить писателя: ему бу-

дет некогда писать. Слишком большая известность – тоже помеха: всё время звонит телефон, приглашают выступать, не дают покоя визитёры.

Третье условие – потребность в самоутверждении. Быть писателем без читателей всё равно, что разговаривать вслух на улице с самим собой. Мания величия, как правило, скрывает комплекс неполноценности. Вряд ли это относится лично к вам, хотя сильно подозреваю, что вы попросту искусно маскируетесь.

БХ. Позвольте мне сначала сделать одно общее замечание: литература в эмиграции – тема одновременно психологическая и политическая. Когда её обсуждают, то обыкновенно делают крен в ту или в другую сторону. Вы, по-видимому, не исключение: сейчас вы ударились в психологию.

Условия, необходимые или желательные для создания литературы за пределами родины. . . . Станный вы человек. Вы в самом деле думаете, что кто-то когда-то сознательно планировал создание эмигрантской литературы? Или что кто-нибудь из нас или нам подобных, уезжая, прикидывал: а что мне понадобится для создания литературы?

Каждый писатель думает: дай Бог, чтобы удалось что-нибудь написать. . . .

Итак, по порядку. О космополитизме говорить, я думаю, не приходится. Гражданином мира называл себя Гёте. Ни один русский писатель-эмигрант, даже Набоков, не был космополитом, по крайней мере, не говорил так о себе. Большинство собратьев – о Первой волне и говорить нечего – восприняли бы это скорее как осуждение. Для меня это слишком высоко.

Всякая попытка создать что-то вроде теории экспатрированной литературы должна опираться на конкретные свидетельства, на реальный опыт литераторов-эмигрантов. Мы оба хорошо знаем, как поразительно схожи высказывания изгнанников разных стран и эпох. У меня такое чувство, что и Овидий, и Брехт писали обо мне.

Может быть, ни одна область истории литературы не демонстрирует такое нагромождение противоречий. Собственно, вся эмигрантская литература есть непрерывное и неразрешимое противоречие. Это литература, которая простилась с отечеством и вместе с тем прикована к нему. Литература, которая склонна противопоставлять себя творчеству оставшихся, в пределе – воображать себя единственной подлинной литературой родного языка. Но она не перестаёт быть частью национальной литературы. Отрезанный ломоть хлеба – тот же хлеб. Это литература на языке отечества, которое она сама отрицает – своим существованием посреди другой языковой стихии; это отечество изгнанных. Литература, которая тотально противостоит своему окружению. Литература, которая кажется призрачной тем, кто для неё самой – призрак. У которой нет

читателей, нет будущего, которая по всем законам и критериям нежизнеспособна, не может существовать, и, однако, существует и возобновляется то здесь, то там.

* * *

ДГ. Ещё сидя в России, вы сформулировали понятие родины “без почвы и нации”. Цитирую: “Моё единственное отечество – русский язык”.

Не вы один среди эмигрантов Третьей волны аттестуете себя как некий лингвистический придаток, скажем так: причастие страдательного залога. Конечно, первая мысль, которая приходит на ум, это то, что в вас говорит ассимилированный еврей; про себя он знает, что он русский, но кругом сколько угодно соотечественников, которые относятся к нему как к трансвеститу в женской уборной. Однако есть эмигрантский писатель Саша Соколов, этнически вполне русский человек, который фетишизирует язык ещё больше, чем вы.

Скоро у вас за плечами будет два десятилетия жизни в стране, язык которой вы знали ещё в России. У вас хороший немецкий, пусть с небольшим иностранным выговором, – может быть, теперь вы стали бы на иную точку зрения?

БХ. Вы связали язык с темой эмиграции; это отвечает задачам следствия, учинённого вами, – общей тематике наших бесед. Но когда я писал о том, что у меня нет иного отечества кроме моего родного языка, что русский язык заменил мне Россию, это, может быть, и напоминало древнюю традицию обожествления языка, иудейский культ Слова, иудейский гипноз языка, учение о двадцати трёх буквах как первоэлементах, кирпичиках мира и т.п. – да, может быть, и напоминало, но, уверяю вас, я тогда вовсе не собирался покинуть эту страну. Я прекрасно помню, что текст, на который вы сослались, рукопись под названием “Дебет-скребет”, заканчивалась словами: “Я остаюсь”. Ах, это всё та же неоднозначность, которая раздражает моих немногочисленных читателей в России.

Можете представить себе это настроение, этот аффект – отнюдь не связанный только с моим происхождением, – который заставляет вас скрипнуть зубами и пробормотать: идите вы ко всем чертям – у меня одно отечество: русский язык. Надо было вкусить эту полную безнадёгу, надо было понять, как дважды два, что у этой страны больше нет будущего, что оно, это будущее, ампутировано у всех нас, кто бы мы ни были, русские или евреи, ампутировано у наших детей, надо было свыкнуться с этой мыслью, жить с ней годы и десятилетия, чтобы сказать

себе: язык – вот единственное, что у меня осталось. Но этот язык – кандалы, которыми я прикован, как к каторжной тачке, к моей стране.

А теперь . . . когда я с этим языком приехал, когда он в буквальном смысле был моим единственным эмигрантским багажом, – теперь – могу ли я продлить свой контракт с языком, похожий на контракт иудеев с Богом? Вы спрашиваете меня об этом. Вы допускаете, что возможен какой-нибудь другой ответ.

О себе вы сказали, что вашей истинной родиной являются не столько Соединённые Штаты, сколько всечеловеческая Мысль. Прекрасная формула духовного космополитизма. Но я не мог бы её применить к себе. Я, может быть, до неё просто не дорос. Мы об этом уже говорили.

Однако язык может сыграть с эмигрантом – не “внутренним”, а настоящим – злую шутку. Приехав на Запад в 1982 году, я застал в живых кое-каких представителей Второй волны и даже нескольких мастодонтов Первой волны российского исхода. Невозможно было не заметить, что они говорят на *другом* русском языке. Это было следствием и сознательного отталкивания от языка и литературы Советской России, и невольного отторжения от основной массы носителей живого русского языка, тех носителей, которые полагали себя народом, а земляков за границей – отщепенцами. Отщепенцы же, в свою очередь, старались себя убедить, что они – подлинные хранители языка, унёсшие его из страны, которую они и Россией-то уже не считали: это была “совдепия”, вотчина инородцев.

Язык этих людей, вобравший их надежды, их предрассудки, их фанатизм, их тяжёлую судьбу, был в самом деле их якорем; и вот теперь этот язык казался устаревшим или даже неправильным. Порой ничтожные отклонения, совершенно невинные ошибки выдавали изгнанников: детская писательница Сабурова употребляла слово “пантера” в мужском роде: пантер, как по-немецки; другие говорили “барок” вместо барокко, писали иностранные имена против правил современной русской транскрипции, в газете *Русская мысль* можно было встретить слово “кресто-словица”, давно исчезнувшее из языка; великий князь Владимир Кириллович, претендент на российский престол, обращался к “своему народу” на каком-то совершенно невозможном наречии. Даже у Набокова изредка попадаются словечки и выражения, странно звучащие для русского уха. Когда же грубые искажения языка соединялись с агрессивным национализмом, с претензией говорить от имени русского народа, это производило удручающее впечатление.

Но . . . “врач разглядывает в микроскопе бактерию, а бактерия разглядывает врача”, и наша речь, язык людей, только что прибывших из России, в свою очередь казалась изгнанникам испорченным, даже опоганенным русским языком. Прошло немногим более полутора десяти-

летий, ничтожный срок в сравнении с вечностью языка. И я спрашиваю себя, не разделим ли мы судьбу наших предшественников, не кажется ли мой язык новоприбывшим россиянам таким же “пантером”, как нам казался язык старых эмигрантов.

Приезжая в Москву, я слышал, видел и обонял язык, на котором я уже не говорю. Язык, о котором я однажды написал статью (она называлась “Апология нечитабельности”). Язык-жаргон, слова-окурки, язык, пахнущий выгребной ямой. Дело не в том, что в этом языке получил права гражданства мат: мои уши привыкли к этой лексике; я умею её ценить; мне случалось выступить против инфляции мата, против его вырождения в систему междометий и слов-паразитов, могу сослаться на другую мою статейку “Экология мата”. Нет, матерные слова и порой изумительные по своей изощрённости и архитектурной стройности матерные конструкции – старое, в своём роде классическое достояние нашего языка. А я говорю о другом языке, имя которому – стёб, о сегодняшнем языке народа, языке люмпен-интеллигенции, языке новых богачей и языке литературы, той литературы, которая говорит голосом, выражает психологию люмпенизированного массового общества. Я говорю о живом, современном русском языке.

Сумел бы я воспользоваться художественными возможностями этого языка, если бы остался в России? Вопрос. Я житель острова, который стремительно опускается на дно. Очень может быть, что на смену умирающей культуре идёт другая. Романские языки возникли не из классической латыни, их предок – речь сотрапезников Тримальхиона. Но будущей культуре, прежде чем она стала на ноги, понадобилось много столетий.
